

Алексей
ТОЛСТОЙ

Петр Первый

Роман



Санкт-Петербург

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить, — вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик.

Чада прыгали с ноги на ногу, — все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках до пупка.

— Дверь, оглашенные! — закричала мать из избы.

Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины. Материно морщинистое лицо осветилось огнем. Страшнее всего блеснули из-под рваного плата исплаканные глаза, — как на иконе. Санька отчего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. Потом зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила льдинку и дала напиться братикам. Прошептала:

— Озябли? А то на двор сбегает, посмотрим, — батя коня запрягает...

На дворе отец запрягал в сани. Падал тихий снежок, небо было снежное, на высоком тыну сидели галки, и здесь не так студено, как в сенях. На бате, Иване Артемьиче, — так звала его мать, а люди и сам он себя на людях — Ивашкой, по прозвищу Бровкиным, — высокий колпак надвинут на сердитые брови. Рыжая борода не чесана с самого Покрова... Рукавицы торчали за пазухой сермяжного кафтана, подпоясанного низко лыком,

лапти зло визжали по навозному снегу: у бати со сбруей не ладилось... Гнилая была сбруя, одни узлы. С досады он кричал на вороную лошаденку, такую же, как батя, коротконогую, с раздутым пузом:

— Балуй, нечистый дух!

Чада справили у крыльца малую надобность и жались на обледенелом пороге, хотя мороз и прохватывал. Артамошка, самый маленький, едва выговорил:

— Ничаво, на печке отогреемся...

Иван Артемьич запряг и стал поить коня из бадьи. Конь пил долго, раздувая косматые бока: «Что ж, кормите впроголодь, уж попою вдоволь»... Батя надел рукавицы, взял из саней, из-под соломы, кнут.

— Бегите в избу, я вас! — крикнул он чадам. Упал боком на сани и, раскатившись за воротами, рысцой поехал мимо осыпанных снегом высоких елей на усадьбу сына дворянского Волкова.

— Ой, студено, люто, — сказала Санька.

Чада кинулись в темную избу, полезли на печь, стучали зубами. Под черным потолком клубился теплый, сухой дым, уходил в волоковое окошечко над дверью: избу топили по-черному. Мать творила тесто. Двор все-таки был зажиточный — конь, корова, четыре курицы. Про Ивашку Бровкина говорили: крепкий. Падали со светца в воду, шипели угольки лучины. Санька натянула на себя, на братиков бараний тулуп и под тулупом опять начала шептать про разные страсти: про тех, не будь помянуты, кто по ночам шуршит в подполье...

— Давеча, лопни мои глаза, вот напугалась... У порога — сор, а на сору — веник... Я гляжу с печки, — с нами крестная сила! Из-под веника — лохматый, с кошачьими усами...

— Ой, ой, ой, — боялись под тулупом маленькие.

2

Чуть проторенная дорога вела лесом. Вековые сосны закрывали небо. Бурелом, чащоба — тяжелые места. Землею этой Василий, сын Волков, в позапрошлом году

был поверстан в отвод от отца, московского служилого дворянина. Поместный приказ поверстал Василия четырьмястами пятьюдесятью десятинами, и при них крестьян приписано тридцать семь душ с семьями.

Василий поставил усадьбу, да протратился, половину земли пришлось заложить в монастыре. Монахи дали денег под большой рост — двадцать копеечек с рубля. А надо было по верстке быть на государевой службе на коне добром, в панцире, с саблею, с пищалью и вести с собой ратников, троих мужиков, на конях же, в тегилеях, в саблях, в саадаках... Едва-едва на монастырские деньги поднял он такое вооружение. А жить самому? А дворню прокормить? А рост плати монахам?

Царская казна пощады не знает. Что ни год — новый наказ, новые деньги — кормовые, дорожные, дани и оброки. Себе много ли перепадет? И все спрашивают с помещика — почему ленив выколачивать оброк. А с мужика больше одной шкуры не сдерешь. Истошало государство при покойном царе Алексее Михайловиче от войн, от смут и бунтов. Как погулял по земле вор-анафема Стенька Разин, — крестьяне забыли Бога. Чуть прижмешь покрепче, — скалят зубы по-волчьи. От тягот бегут на Дон, — оттуда их ни грамотой, ни саблей не добыть.

Конь плелся дорожной рысцой, весь покрылся инеем. Ветви задевали дугу, сыпали снежной пылью. Прильнув к стволам, на проезжего глядели пушистохвостые белки, — гибель в лесах была этой белки. Иван Артемьич лежал в санях и думал, — мужику одно только и оставалось: думать...

«Ну ладно... Того подай, этого подай... Тому запла-ти, этому заплати... Но — прорва, — эдакое государство! — разве ее напитаешь? От работы не бегаем, терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну ладно... Ты заставь, бери, что тебе надо, не озорничай... А это, ребята, две шкуры драть — озорство. Государевых людей ныне развелось, — плюнь — и там дьяк, али подьячий, али цело-

вальник сидит, пишет... А мужик один... Ох, ребята, лучше я убегу, зверь меня в лесу заломает, смерть скорее, чем это озорство... Так вы долго на нас не прокормитесь...»

Ивашка Бровкин думал, может быть, так, а может, и не так. Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на коленках, Цыган (по прозвищу), волковский же крестьянин, черный, с проседью, мужик. Лет пятнадцать он был в бегах, шатался меж двор. Но вышел указ: вернуть помещикам всех беглых без срока давности. Цыгана взяли под Воронежем, где он крестьянствовал, и вернули Волкову-старшему. Он опять было наострил лапты — поймали, и велено было Цыгана бить кнутом без пощады и держать в тюрьме — на усадьбе же у Волкова, — а как кожа подживет, вынув, в другой ряд бить его кнутом же без пощады и опять кинуть в тюрьму, чтобы ему, плуту, вору, впредь бегать было неповадно. Цыган только тем и выручился, что его отписали на Васильеву дачу.

— Здорóво, — сказал Цыган Ивану и пересел в его сани.

— Здорóво.

— Ничего не слышно?

— Хорошего, будто, ничего не слышно...

Цыган снял варежку, разворотил усы, бороду, скрывая лукавство.

— Встретил в лесу человека: царь, говорит, помирает.

Иван Артемьич привстал в санях. Жуть взяла... «Тпру...» Стащил колпак, перекрестился.

— Кого же теперь царем-то скажут?

— Окромя, говорит, некого, как мальчонку, Петра Алексеевича. А он едва титьку бросил...

— Ну, парень! — Иван нахлобучил колпак, глаза побелели. — Ну, парень... Жди теперь боярского царства. Все распропадем...

— Пропадем, а может, и ничего — так-то. — Цыган подsunулся вплоть. Подмигнул. — Человек этот сказывал — быть смуте... Может, еще поживем, хлеб пожуюм,

чай — бывалые. — Цыган оскалил лешачьи зубы и засмеялся, кашлянул на весь лес.

Белка кинулась со ствола, перелетела через дорогу, посыпался снег, заиграл столбом иголочек в косом свете. Большое малиновое солнце повисло в конце дороги над бугром, над высокими частоколами, крутыми кровлями и дымами волковской усадьбы...

3

Ивашка и Цыган оставили коней около высоких ворот. Над ними под двухскатной крышей — образ честного креста Господня. Далее тянулся кругом всей усадьбы непрелазный тын. Хоть татар встречай... Мужики сняли шапки. Ивашка взялся за кольцо в калитке, сказал, как положено:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас...

Скрипя лаптями, из воротни вышел Аверьян, сторож, посмотрел в щель, — свои. Проговорил: аминь, — и стал отворять ворота.

Мужики завели лошадей во двор. Стояли без шапок, косясь на слюдяные окошечки боярской избы. Туда, в хоромы, вело крыльцо с крутой лестницей. Красивое крыльцо, резного дерева, крыша луковицей. Выше крыльца — кровля — шатром, с двумя полубочками, с золоченым гребнем. Нижнее жилье избы — подклеть — из могучих бревен. Готовил ее Василий Волков под кладовые для зимних и летних запасов — хлеба, солонины, солений, мочений разных. Но — мужики знали — в кладовых у него одни мыши. А крыльцо — дай бог иному князю: крыльцо богатое...

— Аверьян, зачем боярин нас вызывал с конями, — повинность, что ли, какая?.. — спросил Ивашка. — За нами, кажется, ничего нет такого...

— В Москву ратных людей повезете...

— Это опять коней ломать?..

— А что слышно, — спросил Цыган, придвигаясь, — война с кем? Смута?

— Не твоего и не моего ума дело. — Седой Аверьян поклонился. — Приказано — повезешь. Сегодня батогов воз привезли для вашего-то брата...

Аверьян, не сгибая ног, пошел в сторожку. В зимних сумерках кое-где светило окошечко. Нагорожено всякого строения на дворе было много — скотные дворы, погреба, избы, кузня. Но все наполовину без пользы. Дворовых холопей у Волкова было всего пятнадцать душ, да и те перебивались с хлеба на квас. Работали, конечно, — пахали кое-как, сеяли, лес возили, но с этого разве проживешь? Труд холопий. Говорили, будто Василий посылает одного в Москву юродствовать на паперти, — тот денег приносит. Да двое ходят с коробами в Москве же, продают ложки, лапти, свистульки... А все-таки основа — мужички. Те — кормят...

Ивашка и Цыган, стоя в сумерках на дворе, думали. Спешить некуда. Хорошего ждать неоткуда. Конечно, старики рассказывают, прежде легче было: не понравилось — ушел к другому помещику. Ныне это заказано, — где велено, там и живи. Велено кормить Василия Волкова, — как хочешь, так и корми. Все стали холопами. И ждать надо: еще труднее будет...

Завизжала где-то дверь, по снегу подлетела простоволосая девка-дворовая, бесстыдница:

— Боярин велел, — распрягайте. Ночевать велел. Лошадям задавать — избави боже, боярское сено...

Цыган хотел было кнутом ожечь по гладкому заду эту девку, — убежала... Не спеша распрягли. Пошли в дворничью избу ночевать. Дворовые, человек восемь, своровав у боярина сальную свечу, хлестали засаленными картами по столу, — отыгрывали друг у друга копейки... Крик, спор, один норовит сунуть деньги за щеку, другой рвет ему губы. Лодыри, и ведь — сытые!

В стороне на лавке сидел мальчик в длинной холщовой рубаше, в разбитых лаптях, — Алешка, сын Ивана Артемьича. Осенью пришлось, с голоду, за недоимку отдать его боярину в вечную кабалу. Мальчишка большеглазый, в мать. По вихрам видно — бьют его здесь.

Покосился Иван на сына, жалко стало, ничего не сказал. Алешка молча низко поклонился отцу.

Он поманил сына, спросил шепотом:

— Ужинали?

— Ужинали.

— Эх, со двора я хлебца не захватил. (Слукавил, — ломоть хлеба был у него за пазухой, в тряпице.) Ты уж расстарайся как-нибудь... Вот что, Алеша... Утром хочу боярину в ноги упасть, — делов у меня много. Чай, смеется, — съезди заместо меня в Москву.

Алешка степенно кивнул: «Хорошо, батя». Иван стал разуваться и — бойкой скороговоркой, будто он веселый, сытый:

— Это что же, каждый день, ребята, у вас такое веселье? Ай, легко живете, сладко пьете...

Один, рослый холоп, бросив карты, обернулся:

— А ты кто тут — нам выговаривать...

Иван, не дожидаясь, когда смажут по уху, полез на полати.

4

У Василия Волкова остался ночевать гость — сосед, Михайла Тыртов, мелкопоместный сын дворянский. Отужинали рано. На широких лавках поближе к муравленой печи постланы были кошмы, подушки, медвежьи шубы. Но по молодости не спалось. Жарко. Сидели на лавке в одном исподнем. Беседовали в сумерках, позевывали, крестили рот.

— Тебе, — говорил гость степенно и тихо, — тебе, Василий, еще многие завидуют... А ты влезь в мою шкуру. Нас у отца четырнадцать. Семеро поверстаны в отвод, бьются на пустошах, у кого два мужика, у кого трое, — остальные в бегах. Я, восьмой, новик, завтра верстаться буду. Дадут погорелую деревеньку, болото с лягушками... Как жить? А?

— Ныне всем трудно. — Василий перебирал одной рукой кипарисные четки, свесив их между колен. — Все бьемся... Как жить?..

— Дед мой выше Голицына сидел, — говорил Тырттов, — у гроба Михайла Федоровича дневал и ночевал. А мы дома в лаптях ходим... К стыду уж привыкли. Не о чести думать, а как живу быть... Отец в Поместном приказе с просьбами весь лоб расколотил: ныне без доброго посула и не попросишь. Дьяку — дай, подьячему — дай, младшему подьячему — дай. Да еще не берут — корсотятся... Просили мы о малом деле подьячего, Степку Ремезова, послали ему посулы, десять алтын, — едва эти деньги собрали, — да сухих карасей пуд. Деньги-то он взял, жаждущая рожа и пьяная, а карасей велел на двор выкинуть... Иные, кто половчее, домогаются... Володька Чемоданов с челобитной до царя дошел, два сельца ему в вечное владенье дано. А Володька, — все знают, — в прошлую войну от поляков без памяти бегал с поля, и отец его под Смоленском три раза бегал с поля... Так чем их за это наделов лишить, из дворов выбить прочь, — их селами жалуют... Нет правды...

Помолчали. От печи пыхало жаром. Сухо тыркали сверчки. Тишина, скука. Даже собаки перестали брехать на дворе. Волков проговорил, задумавшись:

— Король бы какой взял нас на службу — в Венецию, или в Рим, или в Вену... Ушел бы я без оглядки... Василий Васильевич Голицын отцу моему крестному книгу давал, так я брал ее читать... Все народы живут в богатстве, в довольстве, одни мы нищие... Был недавно в Москве, искал оружейника, послали меня на Кукуй-слободу, к немцам... Ну, что ж, они не православные, — их Бог рассудит... А как вошел я за ограду, — улицы подметены, избы чистые, веселые, в огородах — цветы... Иду и робею, и — дивно, ну будто во сне... Люди приветливые, и ведь тут же, рядом с нами живут. И — богатство! Один Кукуй богаче всей Москвы с пригородами...

— Торговлишкой заняться? — опять деньги нужны. — Михайла поглядел на босые ноги. — В стрельцы пойти? Тоже дело не наживочное. Покуда до сотника доберешься, — горб изломают. Недавно к отцу заезжал конюх из царской конюшни, Данило Меншиков, рас-

сказывал: казна за два с половиной года жалованье задолжала стрелецким полкам. А поди пошуми, — сажают за караул. Полковник Пыжов гоняет стрельцов на свои подмосковные вотчины, и там они работают как холопы... А пошли жаловаться, — челобитчиков били кнутом перед съезжей избой. Ох, стрельцы злы... Меншиков говорил: погодите, они еще покажут...

— Слышно, говорят: кто в боярской-то шубе, и не ездил за Москву-реку.

— А что ты хочешь? Все обнищали... Такая тягота от даней, оброков, пошлин, — беги без оглядки... Меншиков рассказывал: иноземцы — те торгуют, в Архангельске, в Холмогорах поставлены дворы у них каменные. За границей покупают за рубль, продают у нас за три... А наши купчишки от жадности только товар гноят. Посадские от беспощадного тягла бегут кто в уезды, кто в дикую степь. Ныне прорубные деньги стали брать, за проруби в речке... А куда идут деньги? Меншиков рассказывал: Василий Васильевич Голицын палаты воздвиг на реке Неглинной. Снаружи обиты они медными листами, а внутри — золотой кожей...

Василий поднял голову, посмотрел на Михайлу. Тот подобрал ноги под лавку и тоже глядит на Василия. Только что сидел смирный человек — подменили, — усмехнулся, ногой задрожал, лавка под ним заходила...

— Ты чего? — спросил Василий тихо...

— На прошлой неделе под селом Воробьевом опять обоз разбили. Слыхал? (Василий нахмурился, взялся за четки.) Суконной сотни купцы везли красный товар... Погорячились в Москву к ужину доехать, не доехали... Купчишко-то один жив остался, донес. Кинулись ловить разбойников, одни следы нашли, да и те замело...

Михайла задрожал плечами, засмеялся:

— Не пужайся, я там не был, от Меншикова слышал... (Он наклонился к Василию.) Следочки-то, говорят, прямо на Варварку привели, на двор к Степке Одоевскому... Князь Одоевского меньшому сыну... Нам с тобой однолетку...

— Спать надо ложиться, спать пора, — угрюмо сказал Василий.

Михайла опять невесело засмеялся:

— Ну, пошутили, давай спать.

Легко поднялся с лавки, хрустнул суставчиками, потягиваясь. Налил квасу в деревянную чашку и пил долго, поглядывая из-за края чашки на Василия.

— Двадцать пять человек дворовых снаряжены саблями и огневым боем у Степки-то Одоевского... Народ отчаянный... Он их приучил: больше года не кормил, — только выпускал ночью за ворота искать добычи... Волки...

Михайла лег на лавку, натянул медвежий тулуп, руку подsunул под голову, глаза у него блеснули.

— Доносить пойдешь на мой разговор?

Василий повесил четки, молча улегся лицом к сосновой стене, где проступала смола. Долго спустя ответил:

— Нет, не донесу.

5

За воротами Земляного Вала ухабистая дорога пошла кружить по улицам, мимо высоких и узких, в два жилья, бревенчатых изб. Везде — кучи золы, падаль, битые горшки, сношенное тряпье, — все выкидывалось на улицу.

Алешка, держа вожжи, шел сбоку саней, где сидели трое холопов в бумажных, набитых паклей, военных колпаках и толсто стеганных, нестигающихся войлочных кафтанах с высокими воротниками — тегилеях. Это были ратники Василия Волкова. На кольчуги денег не хватило, одел их в тегилеи, хотя и робел, — как бы на смотр не стали его срамить и ругать: не по верстке-де оружие показываешь, заворовался...

Василий и Михайла сидели в санях у Цыгана. Позади холопы вели коней: Васильева — в богатом чепраке и персидском седле и Михайлова — разбитого мерина, оседланного худо, плохо.

Михайла сидел насупившись. Их обгоняло, крича и хлеща по лошадям, много дворян и детей боярских в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях, в терликах, в турецких кафтанах, — весь уезд съезжался на Лубянскую площадь, на смотр, на земельную верстку и переверстку. Люди, все до одного, смеялись, глядя на Михайлова мерина: «Эй, ты — на воронье кладбище ведешь? Гляди, не дойдет...» Перегоняя, жгли кнутами, — мерин приседал... Гогот, хохот, свист...

Переехали мост через Язу, где на крутом берегу вертелись сотни небольших мельниц. Рысью вслед за санями и обозами проехали по площади вдоль бело-облезлой стены с квадратными башнями и пушками меж зубцов. В Мясницких низеньких воротах — крик, ругань, давка, — каждому надобно проскочить первому, бьются кулаками, летят шапки, трещат сани, лошади лезут на дыбы. Над воротами теплится неугасимая лампада перед темным ликом.

Алешку исхлестали кнутами, потерял шапку, — как только жив остался! Выехали на Мясницкую... Вытирая кровь с носа, он глядел по сторонам: ох ты!

Народ валом валил вдоль узкой навозной улицы. Из дощатых лавчонок перегибались, кричали купчишки, ловили за полы, с прохожих рвали шапки, — зазывали к себе. За высокими заборами — каменные избы, красные, серебряные крутые крыши, пестрые церковные маковки. Церквей — тысячи. И большие пятиглавые, и маленькие — на перекрестках, — чуть в дверь человеку войти, а внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притворах жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи. Косматые, страшные нищие трясут лохмотьями, хватают за ноги, гнусава, заголяют тело в крови и дряни... Проходим в нос безместные страшноглазые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то — калач закушу...» Тучи галок над церквушками...

Едва продрались за Лубянку, где толпились кучками по всей площади конные ратники. Вдали, у Никольских ворот, виднелась высокая — трубой — соболя шапка

боярина, меховые колпаки дьяков, темные кафтаны выборных лучших людей. Оттуда худой, длинный человек с длинной бородищей кричал, махал бумагой. Тогда выезжал дворянин, богато ли, бедно ли вооруженный, один или со своими ратниками, и скакал к столу. Спешивался, кланялся низко боярину и дьякам. Они осматривали вооружение и коней, прочитывали записи, — много ли земли ему поверстано. Спорили. Дворянин божился, рвал себя за грудь, а иные, прося, плакали, что вконец захудали на землишке и помирают голодной и озябают студеной смертью.

Так, по стародавнему обычаю, каждый год перед весенними походами происходил смотр государевых служилых людей — дворянского ополчения.

Василий и Михайла сели верхами. Цыганову и Алешкину лошадей распрягли, посадили на них без седел двух волковских холопов, а третьему, пешему, велели сказать, что лошадь-де по дороге ногу побила. Сани бросили.

Цыган только за стремя схватился: «Куда коня-то моего угоняете? Боярин! Да милостивый!..» Василий погрозил нагайкой: «Пошуми-ка...» А когда он отъехал, Цыган изругался по-черному и по-матерному, бросил в сани хомут и дугу и лег сам, зарылся в солому с досады...

Об Алешке забыли. Он прибрал сбрую в сани. Посидел, прозяб без шапки, в худой шубейке. Что ж — дело мужицкое, надо терпеть. И вдруг потянул носом сытный дух. Мимо шел посадский в заячьей шапке, пухлый мужик с маленькими глазами. На животе у него, в лотке под ветошью, дымились подовые пироги. Дьявол! — покосился на Алешку, приоткрыл с угла ветошь, — «румяные, горячие!». Духом поволокло Алешку к пирогам.

— Почем, дяденька?

— Полденьги пара. Язык проглотишь.

У Алешки за щекой находились полденьги — полушка, — когда уходил в холопы, подарила мамка на горькое счастье. И жалко денег, и живот разворачивает.

— Давай, что ли, — грубо сказал Алешка. Купил пироги и поел. Сроду такого не ел. А когда вернулся к са-

ням, — ни кнута, ни дуги, ни хомута со шлеей нет, — унесли. Кинулся к Цыгану, — тот из-под соломы обругал. У Алешки отнялись ноги, в голове — пустой звон. Сел было на отвод саней — плакать. Сорвался, стал кидаться к прохожим: «Вора не видали?..» Смеются. Что делать? Побежал через площадь искать боярина.

Волков сидел на коне подбоченьясь — в медной шапке, на груди и на брюхе морозом заиндевели железные, пластинами, латы. Василия не узнать — орел. Позади — верхами — два холопа, как бочки, в тегилеях, на плечах — рогатины. Сами понимали: ну и вояки! глупее глупого. Ухмылялись.

Растирая слезы, гнусая до жалости, Алешка стал рассказывать про беду.

— Сам виноват! — крикнул Василий. — Отец выпорот. А сбрую отец новую не справит, — я его выпорю. Пошел, не вертись перед конем.

Тут его выкрикнул длинный дьяк, махая бумагой. Волков с места вскачь, и за ним холопы, колотя лошадемок лаптями, побежали к Никольским воротам, где у стола в горлатной шапке и в двух шубах — бархатной и поверх — нагольной, бараньей, — сидел страшный князь Федор Юрьевич Ромодановский.

Что ж теперь делать-то? Ни шапки, ни сбруи... Алешка тихо голосил, бредя по площади. Его окликнул, схватил за плечо Михайла Тыртов, нагнулся с коня.

— Алешка, — сказал, и у самого — слезы, и губы трясутся, — Алешка, для Бога, беги к Тверским воротам, — спросишь, где двор Данилы Меншикова, конюха... Войдешь, и Даниле кланяйся три раза в землю... Скажи — Михайла, мол, бьет челом... Конь, мол, у него заплошал... Стыдно, мол. Дал бы он мне на день какого ни на есть коня — показаться. Запомнишь? Скажи — я отслужу... За коня мне хоть человека зарезать... Плачь, проси...

— Просить буду, а он откажет? — спросил Алешка.

— В землю по плечи тебя вобью! — Михайла выкатил глаза, раздул ноздри.

Без памяти Алешка кинулся бежать, куда было сказано.

Михайла промерз в седле, не евши весь день... Солнце клонилось в морозную мглу. Синел снег. Звонче скрипели конские копыта. Находили сумерки, и по всей Москве на звонницах и колокольнях начали звонить к вечерне. Мимо проехал шагом Василий Волков, хмуро опустив голову. Алешка все не шел. Он так и не пришел совсем.

6

В низкой, жарко натопленной палате лампы озаряли низкий свод и темную роспись на нем: райских птиц, завитки трав.

Под темными ликами образов на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич.

Ждали этого давно: у царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять заутрени, присел на стульчик да и свалился. Кинулись — едва бьется сердце. Положили под образа. От воды у него ноги раздуло, как бревна, и брюхо стало пухнуть. Вызвали немца-лекаря. Он выпустил воду, и царь затих, — стал тихо отходить. Потемнели глазные впадины, заострился нос. Одно время он что-то шептал, не могли понять — что? Немец нагнулся к его бескровным устам: Федор Алексеевич невнятно, одним дуновением произносил по-латыни вирши. Лекарю почудился в царском шепоте стих Овидия... На смертном одре — Овидия? Несомненно, царь был без памяти...

Сейчас даже его дыхания не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, — сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким, суровый и восковой, в черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом, сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти. У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна, — сквозь туман слез глядела туда, где из груди перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было семнадцать лет, взяли ее во дворец из